

## Три макушки

**М**ое появление на свет было скандальным и для многих неожиданным. Новость о том, что молодой юрист Ольга Яковлевна Барановская родила сына от знаменитого одесского адвоката Якова Борисовича Бродского, быстро облетела город. Одесская интеллигенция, так называемая “вся Одесса”, была фраппирована. Адвокат Бродский был уже немолодым человеком сорока шести лет, имел жену и десятилетнего сына; теперь он довольно открыто стал жить на две семьи.

Отца знал весь город, он имел репутацию светского льва, женщин любил и имел у них успех. Помню его хорошо сложенным крепким мужчиной среднего роста, темноглазым брюнетом с крупными чертами лица, четким рисунком бровей, устремленных от переносицы к вискам, с неизменной трубкой черного дерева во рту и с черной же лакированной тростью элегантною простоты, висящей на сгибе левой руки или описывающей сложную, но неизменно элегантною траекторию при ходьбе. Обращали на себя внимание прямой офицерский пробор и галстук бабочкой, который в эти якобинские времена осмеливались носить лишь немногие интеллигенты, и строгий костюм, к которому очень подошла бы орден-

ская ленточка в петлице. И крест у него был, солдатский Георгий, полученный за мужество и храбрость в боях с австрийцами в августе 1914 года, когда он, раненный в ногу, вывел свой взвод без потерь из-под огня, но, разумеется, носить этот крест в те годы было невозможно.

Такой запомнилась внешность отца в довоенные годы, хотя, вероятно, в этих впечатлениях есть отблеск более поздних воспоминаний. Блестяще образованный, учившийся в Петербургском и Новороссийском, то есть в Одесском, университетах, свободно владевший французским языком, он, как и его отец, мой дед, умерший задолго до моего рождения, стал присяжным поверенным, имел практику еще до Первой мировой войны, а широкую, может быть — даже европейскую, известность получил в середине двадцатых годов, выиграв уголовный процесс, который советская власть вела против одесских иерархов православной церкви. Отец защищал не только деятелей церкви, он защищал право, совершенно не предполагая, что спустя почти два десятка лет, во время румынской оккупации Одессы, его судебные речи в защиту духовенства спасут ему жизнь.

Я думаю, требовалось немалое мужество, чтобы взять на себя защиту подсудимых, которые уже своим социальным положением противостояли власти, а выиграть у этой власти процесс — это был вызов, перчатка, брошенная беззаконию, но в тот период этот вызов был лишь взят на заметку компетентными органами и временно оставлен без последствий.

Речи отца, как и весь его архив, исчезли после войны в недрах НКВД. Сохранилась лишь одна из них, где отец выступил в несвойственной ему роли общественного обвинителя убийцы — фельдшера, застрелившего известного одесского врача, доктора Гегелашвили. Эта речь, заставляющая вспомнить речи знаменитых дореволюционных судебных деятелей, интересна оценкой социальной роли интеллигенции, не совпадающей с отношением к ней партийных

вождей, а также глубоким психологическим анализом личности убийцы, исполненного классовой ненависти и в то же время одержимого своеобразным комплексом классовой неполноценности.

Из рассказов старых одесситов и воспоминаний самого отца, которые я с интересом слушал в последние годы его жизни, можно было представить скептическое отношение отца к пролетарской юстиции. Язвительность его выступлений периодически имела следствием исключение из коллегии адвокатов. Помню рассказанный мне эпизод типичного процесса о вредительстве на одном из сельскохозяйственных предприятий. Эксперты, которым было поручено разобраться с его финансовым состоянием, обнаружили среди произведенной продукции молодое вино и, проверяя его качество, переусердствовали до такой степени, что не смогли явиться на заседание суда.

— Вот что значит не щадить живота своего правосудия ради, — заявил отец под сдержанные смешки аудитории и был немедленно обвинен в неуважении к суду.

Положение, занимаемое отцом в одесской адвокатуре, было значительным, поэтому рано или поздно период бездействия заканчивался и коллегия восстанавливала его в своих рядах до следующего конфликта. В один из таких периодов, лишенный права заниматься адвокатской практикой, отец служил юрисконсультантом в итальянском консульстве, находившемся в те годы в Одессе.

— Однажды консул, — вспоминал отец, — обратился ко мне: “Господин Бродский, у нас в Италии люди с вашим образованием и вашего склада обычно делают дипломатическую карьеру”. Конечно, я не мог объяснить ему, что наши дипломатические кадры формируются по совершенно иному принципу.

Понятно, что облик отца, его врожденный аристократизм, эрудиция, ораторское искусство, иронический склад ума при-

влекали к нему внимание окружающих. Неудивительно, что мать, хотя уже и не юная девушка, а взрослая, замужняя женщина, увлеклась этим человеком и полюбила его.

История их любви мне неизвестна. Мать разошлась со своим мужем, врачом Анатолием Барановским, но вторая семья не сложилась. Отец не оставил жену и сына, свой хорошо налаженный быт, предпочтя роль приходящего к нам с мамой мужа и отца. Для маминых родителей, людей традиционных взглядов, это было потрясение, тяжелый удар. Смягчало удар лишь то, что отец дал мне свою фамилию, придав тем самым событию моего рождения вполне законный вид.

Как бы там ни было, я появился на свет в положенный срок и начал жить. Три макушки, которыми отметила меня природа, внушали моим близким известный оптимизм. Пожалуй, для оптимизма это было единственным надежным основанием. Ведь я родился в феврале 1934 года, в черные времена. Только что закончился XVII съезд ВКП(б), в истории партии официально названный съездом победителей. Диктатура Сталина утвердилась, и преданность вождю не спасла победителей от участи побежденных оппозиционеров: наступили годы террора, и большинство делегатов съезда, как и миллионы других людей, были объявлены врагами народа и вычеркнуты из жизни и из истории.

Много лет спустя, в эпоху политической оттепели, когда в библиотеках после многолетнего моратория стало возможным получить подшивки старых газет, мне захотелось окунуться в атмосферу начальных дней моей жизни. Тогда-то, если не ошибаюсь, в февральском номере “Правды” я и увидел впервые фотографию вождя, которая позднее стала общеизвестной. Сталин стоял на трибуне и, улыбаясь, целился в делегатов из ружья, только что подаренного ему тульскими оружейниками. Делегаты аплодировали. Трагическая метафора эпохи поразила меня. Не только делегаты съезда — вся страна в гипнотическом психозе трепетала под прицелом

вождя, и, мне кажется, только большие оптимисты решались завести детей. В среде интеллигенции оптимистов было мало, среди друзей и ровесников моих родителей было много бездетных семей. Возможно, я был нежеланным ребенком, но мое раннее довоенное детство было безмятежным и счастливым.

## У папы две жены

**Ш**ли первые месяцы и годы, не оставившие в моей памяти следов. Первой вспышкой, разбудившей мое сознание и включившей эмоциональную память, был ужас. Хорошо помню смятение, охватившее меня, двухлетнего, играющего на полу нашей маленькой комнаты, при виде множества неизвестных чудовищ, появившихся из принесенной с рынка соломенной корзины и медленно ползущих ко мне. Чудовища были маленькие, но страшные, зеленоватые, хвостатые, с угрожающими клешнями. Было от чего испугаться и залезть на стол. Мама вошла в комнату и рассмеялась.

— Глупый, это же раки, — сказала она.

Больше себя в этой длинной уютной комнате я не помню. Это значит, что очень скоро мы переехали в большой, красивый, но запущенный дом на противоположном углу улиц Гоголя и Сабанеева моста. Говорили, что до революции это был доходный дом, принадлежавший графу Толстому. Ему же, не известному мне графу, принадлежал и классический особняк, стоявший чуть дальше по улице Сабанеев мост. Ныне в особняке размещался одесский Дом ученых, посещаемый не только учеными, но и окрестными детьми, пото-

му что там устраивались новогодние елки и различные утренники, то есть веселые представления для детей.

Думаю, что в неизменном упоминании имени бывшего владельца дома, характерного для одесситов и намертво впечатавшегося в мою детскую память, сквозила ностальгия по ушедшим временам, но присутствовал и некий скептицизм по отношению к дням нынешним, а может быть, и смутная, подсознательная надежда на то, что старые добрые времена еще вернуться.

Мы с мамой поселились в бельэтаже, в огромной комнате. Хорошо помню, как восхищались взрослые: сорок метров, целых сорок! Еще долгое время цифра “сорок” ощущалась мной как нечто гигантское, гиперболическое. Излишне говорить, что эта комната, как и предыдущая, была в большой коммунальной квартире. Комната была красивая, квадратная, угловая, хотя, строго говоря, вместо угла было плавное закругление с большим окном. Еще два окна выходили на улицу Гоголя и на Сабанеев мост.

Солнце двигалось ежедневным маршрутом вокруг дома, от Сабанеева моста к улице Гоголя, и оттого весь день нашу комнату пронизывали его косые лучи. В лучах беспорядочно плясали пылинки, превращая световой поток в нечто материальное. Солнце освещало большой круглый стол в середине комнаты, старое продавленное кожаное кресло у стены рядом со старинным умывальным шкафом, широкую низкую мамину тахту и мою металлическую кроватку, забранную сеткой.

В тени, в простенках между окнами, стояли застекленные книжные шкафы темного дерева; их называли американскими. Стекла в деревянных рамах можно было поднять на петлях и вдвинуть внутрь шкафа в пространство между полкой и верхним обрезом книг. Рамы имели замки, и некоторые из них были заперты: на этих полках стояли книги, которые детям читать не рекомендовалось. Впрочем, и на незапертых полках книг было много. Четырех лет от роду я узнал буквы

и научился читать. В то время я часто оставался дома один, когда мама уходила на работу. Было одиноко и страшно. Боялся я, что с мамой что-то случится и она больше никогда не придет. А я? Что же будет со мной? Часы, которые я проводил в одиночестве и в полной тишине, казались очень длинными. Игрушек у меня почти не было. Хорошо помню лишь пирамидку — вертикальный стержень, на который надевались разноцветные кольца с постепенно уменьшающимся диаметром — да кубики с буквами. Может быть, поэтому чтение рано стало потребностью и страстью. Книги стали моими первыми и лучшими друзьями, а вернее сказать — первой любовью. Они стояли в шкафах ровными рядами, тяжелые тома в красивых переплетах с золотыми обрезами, изданные “Товариществом Маркс”, Сытиным, Брокгаузом. Я любил держать их в руках, испытывая почти чувственное наслаждение от прикосновения к плотным, чуть пожелтевшим страницам, от шелеста шероховатой папиросной бумаги, прикрывающей гравюры, выполненные мастерами старых дней. Еще и сейчас книга для меня не просто источник информации, но синтетическое произведение искусства, некий masterpiece. Жирные пятна, загнутые страницы и другие следы оскорбительного небрежения любимыми спутниками моей жизни приводят меня в ярость. Как хорошо, что прогнозируемый распад империи Гутенберга произойдет за пределами моего существования.

В раннем детстве книги открыли мне необъятность мира, разбудили фантазию. Там, в этом мире, существовали феи и волшебники, принцы и нищие, дети капитана Гранта плыли на поиски отца, печальный Мцыри сражался с барсом и совершал подвиги отважный Руслан, разыскивая Людмилу. Воображение уносило меня в бурные моря, в темные леса Тюрингии и Шварцвальда, в ущелья Кавказа. Читать лежа запрещалось, но сколько замечательных часов я провел в одиночестве на маминой тахте с томами Жюль Верна, Пушкина, Лермонтова,



с чудесно изданными сказками Гауфа и братьев Гримм! Моеими близкими друзьями были отважный Дик Сэнд, чудака Пеганель, благородный лорд Гленарван, таинственный капитан Немо. Олешины “Три толстяка” открыли мне пафос революционной романтики и подарили необыкновенное слово “кордегардия”, в котором слышался звон шпор, лязг оружия, грохот тяжелых ботфортов. В то же время читалась и такая милая, насквозь старорежимная книжка, как “Маленький лорд Фаунтлерой”. Помню, что этот маленький лорд мне очень нравился. Нравилось мне и то, что родители и их друзья называли меня этим именем.

Вероятно, это имя действительно подходило мне в детстве. Каким-то чудом уцелели несколько моих довоенных фотографий. С одной из них удивленно смотрит малыш примерно трех лет, в темной блузе с большим светлым бантом, большелобый, с белокурыми локонами и огромными, широко раскрытыми светлыми глазами. Вполне подходящая модель для портрета кисти Ван Дейка или Гейнсборо.

Дети известных людей почему-то интересуют публику. Как говорят, в те годы я также был популярной личностью в Одессе. Симпатичный малыш в образе благовоспитанного маленького лорда льстил отцу. Его старший сын, мой несчастный сводный брат, которому в детские годы пришлось делать трепанацию черепа, считался не очень удачным ребенком.

К сожалению, благовоспитанность под напором естественных чувств время от времени отступала. Хорошо помню домашний обед, главным блюдом которого была утка с яблоками. Я сидел за столом в своем высоком стульчике и чинно обглаживал ножку, которую позволялось есть руками, поскольку, как известно, так делала даже английская королева. Было ужасно вкусно. Настолько вкусно, что, когда мама вышла на кухню, я залез на стол и, обжигаясь, погрузил руку в фарфоровую миску, пытаясь ухватить кусочек побольше. На этом я и был застигнут мамой и позорно изгнан из-за стола.

Хорошему тону я постепенно и незаметно учился у своих родителей, перенимая их отменные манеры и стараясь подражать им. Нравоучений не было, иногда короткой реплики было достаточно, чтобы помнить всю жизнь. Однажды, когда я сидел, положив ногу на ногу и обхватив коленку обеими руками, мама сказала: “Убери руки. Так сидеть некрасиво”.

Поза была удобной, и расставаться с ней было жаль. С тех пор прошло больше семидесяти лет, в нынешнюю эпоху хорошие манеры стали анахронизмом, однако какой-то внутренний тормоз, может быть — память о матери, не позволяет забыть о полученных в детстве уроках.

Годам к пяти я был неплохо воспитанным мальчиком. Во всяком случае, в этом возрасте я уже вел себя за столом достаточно пристойно, чтобы не оконфузиться в ресторане. По случаю выигранного процесса и, очевидно, полученного гонорара мама отправилась со мной обедать в ресторан знаменитой гостиницы “Красная”. Мне был повязан новый бант на шею, и мы отправились пешком через залитый солнцем Сабанеев мост, перекинутый над спускающейся в порт дорогой, прошли мимо музыкальной школы знаменитого Столярского, где учились одесские вундеркинды, будущие лауреаты всевозможных конкурсов и премий, мимо дома, где жил отец, о чем я узнал значительно позже, вышли на площадь имени Карла Маркса, откуда открывался вид на море и на Дюка, то есть на памятник основателю Одессы герцогу Ришелье, и зашли по дороге в парикмахерскую, чтобы привести меня в достойный вид.

Парикмахерская встретила нас потемневшими от времени зеркалами, доисторическими пыльными пальмами в кадках и густым запахом одеколona. Меня усадили в кресло, или, вернее, на устроенную в кресле скамеечку, ибо я был слишком мал, а телескопических кресел в те времена в Одессе не существовало, и мама сняла с меня туфельки, чтобы я не пачкал кресло ногами.

— Вот здесь и здесь, — сказала мама, нежно прикасаясь к моему затылку теплой ладонью, — здесь лишнее, но коротко не стригите, пожалуйста.

— Бороду пока не бреем? — спросил парикмахер, щеголяя изысканным одесским остроумием.

— Пока нет, — улыбнулась мама, — но мне потом побреете шею. В качестве бесплатного приложения.

Я молчал, потрясенный величием этого громадного человека в белом халате, похожего на зубного врача, который недавно пребольно ковырялся в моих зубах.

Стрекотала машинка, ножницы лязгали, голова моя послушно поворачивалась в жестких парикмахерских руках, белокурые локоны медленно падали на накидку, а потом мне было велено зажмурить глаза, и на меня обрушились колючие струи одеколona.

Немного ошалевший от этой процедуры, я смотрел, как парикмахер подбривал маме шею. Мама носила короткую стрижку, это молодило ее и шло к ее стройной фигуре женщины, игравшей в лаун-теннис. Потом мы шли по улице Карла Маркса, бывшей Екатерининской, поток людей, знакомых и незнакомых, обтекал нас, мы прошли через сад Пале-Рояль и наконец подошли к гостинице.

Удивительно и странно, как память долгие десятки лет удерживает незначащие реплики, мелкие события детства, которые когда-то неизвестно почему поразили детское восприятие и теперь дороги лишь тем, что помогают воображению перенестись в те далекие блаженные времена. Я помню твердый, неудобный для меня ресторанный стул, ослепительно-белую накрахмаленную скатерть и такую же салфетку, которую мама засунула мне за ворот, помню вкус горячей сочной котлеты, картофельного пюре и горчицы, которую я увлеченно добывал из фарфорового судка. Но я почти не помню живого лица моей матери, которую потерял, едва мне исполнилось восемь лет.

Сохранилось лишь несколько фотографий — непрофессиональных, любительских карточек тридцатых годов. На них изображена довольно еще молодая женщина с милым, немного грустным лицом. Люди, знавшие маму, говорили, что фотография плохо отражала оригинал, как это часто бывает, когда красивое, живое лицо нефотогенично. В эти годы мама уже приобрела имя в адвокатуре, ее начинали приглашать для участия в процессах в другие города, а я во время ее отлучек поступал на попечение бабушки и дедушки.

Дедушка Яков до революции служил в банке, бабушка Дина, естественно, была домохозяйкой. Революция не внесла в их жизнь никаких перемен, если не считать того, что банк стал государственным, жалованье, обеспечивавшее безбедную жизнь, превратилось в скудную советскую зарплату, а дом, или, вернее, просторная квартира, на бывшей Ришельевской улице превратилась в жилплощадь размером в две небольшие комнаты, составляющие лишь небольшую часть той же квартиры, где в результате уплотнения нетрудового элемента поселилось еще много разных людей.

Не знаю, каким был дедушка служащим, но домохозяйкой бабушка была идеальной. Паркетные полы были натерты воском до невозможного блеска, куриные бульоны с клецками и лимоном, курица под белым соусом, тефтели в томате — все это было очень аппетитно и вкусно. Но сказать правду, это было единственное, что запомнилось. Возможно, не было тепла. И вероятно, большого внимания тоже. Во всяком случае, именно в этом доме я разбил себе лоб о косяк шкафа, раскатившись на паркете, как на ледовой дорожке. Кровь залила лицо, я ревел от боли и испуга, возникла жуткая суматоха, испугались, не задет ли глаз, но все обошлось, и лишь шрам над переносицей остался пожизненной памятью о происшествии. Шрам, да еще застрявшие в памяти слова бабушки: “Что я скажу Лиле!”

Лилей в семье звали маму, и отношения у нее с родителями были сложные еще с детских лет. Мама была старшей доче-

рю, а ее сестра Элеонора, Нелли, была моложе на восемь лет. Вероятно, как это часто бывает, младшей дочери доставалось больше родительской любви и ласки. Кроме того, говорят, бабушка молодилась и предпочитала появляться на людях с младшей дочерью. Видимо, некий душевный дискомфорт и заставил маму рано уйти из дома и попытаться создать свою семью.

Мамина сестра Нелли еще долго жила с родителями, а потом неожиданно вышла замуж за агронома с соответствующей профессией фамилией Яровой и уехала с мужем почему-то в Ленинград. Я смутно помню ее мужа, дядю Федю, немолодого, крупного мужчину с совершенно голым черепом. Однажды летом дядя Федя и тетя Нелли приехали в Одессу и привезли с собой мою двоюродную сестру Оксану, пухленькую девочку младше меня на два года.

Помнится, этим летом было мне четыре года, и я впервые почувствовал стыд. Мы жили на даче, на восьмой станции, и как-то раз, по дороге на пляж, я устроил скандал, отказавшись купаться и загорать без трусиков. Уговоры не помогали, я упал на дорогу в пыль и вопил, что дальше не пойду. Солнце жгло немилосердно. Я сквозь слезы смотрел снизу вверх на свечи пирамидальных тополей, на огромных безжалостных людей, окружавших меня, и на маленькую сестричку, флегматично обсасывающую свой палец.

— Дай паршивцу шлепка, — ласково посоветовала тетя Нелли.

— Делать нечего, — вздохнула мама, — придется вернуться и взять запасные трусики.

Мы с мамой пошли обратно на дачу. Я все еще всхлипывал.

— Если ты уже действительно большой, то плакать стыдно, — сказала мама.

— Стыдно ходить голым, — заикаясь от слез, ответил я.

Это лето запомнилось и нелепым эпизодом. Однажды вечером на террасе сидели гости, а я скучал в одиночестве и ел алычу. На меня никто не обращал внимания. Это было обидно и непривычно. С горя я начал есть алычу с косточками, хотя

и помнил наставления матери о том, что их надо выплевывать, иначе косточки застрянут в животе и может случиться заворот кишок. Что это такое, я, конечно, толком не знал, но, видимо, что-то ужасное. Проглотив несколько косточек, я побежал к маме и доложил, что у меня скоро будет заворот кишок. Началась паника. Я снова стал центром мироздания. Призвали доктора — пожилую даму, жившую по соседству. Был ошупан живот, где странствовали таинственные косточки, никак не выдавая своего присутствия. Консилиум из заскучавших гостей под руководством доктора решил немедленно кормить меня некой обволакивающей субстанцией, а именно — картофельным пюре и в больших количествах. Мама приступила к делу, гости постепенно разошлись, и мы остались вдвоем. Остаток вечера я, давясь, поглощал пюре, ночью, просыпаясь, прислушивался к своему животу, а наутро косточки оказались в горшке.

Все кончилось благополучно, и я так и не стал мальчиком, у которого случился заворот кишок. Впрочем, я не слишком огорчился. Болеть я не любил.

Но болеть все же иногда приходилось. Как все дети, я переболел ветрянкой и скарлатиной. Помню себя в постели с затуманенным от жара сознанием и отца, сидящего рядом и читающего вслух сказку о попе и работнике его Балде. Читал отец хорошо, и было приятно слушать его голос, доносящийся как бы издалека, и чувствовать на своей ладошке его большую прохладную руку.

Через неделю, выздоравливая после скарлатины и слоняясь на коммунальной кухне, я услышал, как соседка, глядя в окно, сказала маме:

— Вот идет Яков Борисович с женой.

Мама промолчала. Промолчал и я. Потом, уже в комнате, я спросил у мамы:

— Разве у папы две жены?

— Да, — ответила мама, — у папы две жены.

Ответ был краток, и как-то сразу стало понятно, что продолжать расспросы не следует. Но это была ошеломляющая новость. Примерно до пяти лет я воспринимал как должное, что папа живет отдельно. Теперь стало понятно, что в этом есть какая-то тайна.

Впрочем, тайна не мешала жить. В детские годы воспринимаешь жизнь такой, какая она есть, не слишком раздумывая над ее сложностями.